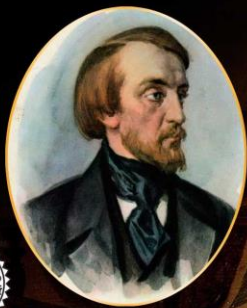


Виссарион Белинский



Русская  
литература  
в 1844 году

*«Русская литература в 1844 году» — произведение известнейшего литературного критика Виссариона Белинского. Белинский известен новаторскими взглядами на цель и функции художественного слова. Виссарион Белинский вошел в историю мирового литературоведения как талантливый ученый, который обосновал теорию реализма, выступая за максимальную приближенность литературы к действительности.*

# Виссарион Григорьевич Белинский

## Русская литература в 1844 году

Вот уже пятое обозрение годового бюджета русской литературы представляем мы нашим читателям. Обязавшись перед публикою быть верным зеркалом русской литературы, постоянно отдавая отчет во всякой вновь выходящей в России книге, во всяком литературном явлении, «Отечественные записки» не вполне выполнили бы свое назначение — быть полною и подробною летописью движения русского слова, если б не вменили себе в обязанность этих годичных обозрений, в которых обо всем, о чем в продолжение целого года говорилось, как о настоящем, говорится, как о прошедшем, и в которых все отдельные и разнообразные явления целого года подводятся под одну точку зрения. Не ставим себе этого в особенную заслугу, потому что видим в этом только должное выполнение добровольно принятой на себя обязанности; но не можем не заметить, что подобная обязанность довольно тяжела. Читатели наши знают, что большая часть этих годичных обозрений постоянно наполнялась рассуждениями вообще о русской литературе и, следовательно, о всех русских

писателях, от Кантемира и Ломоносова до настоящей минуты; а взгляд на прошлогоднюю литературу, главный предмет статьи, всегда занимал ее меньшую часть. Подобные отступления от главного предмета необходимы по двум причинам: во-первых, потому, что настоящее объясняется только прошедшим, и потому, что по поводу целой русской литературы еще можно написать не одну, а даже и несколько статей, более или менее интересных; но о русской литературе за тот или другой год, право, не о чем слишком много или слишком интересно разговориться. И это-то составляет особенную трудность подобных статей. Легко пересчитывать богатства истинные или мнимые; много можно говорить о них; но что сказать о бедности, близкой к нищете? Да, о совершенной нищете, потому что теперь нет уже и мнимых, воображаемых богатств. А между тем о чем же говорить журналу, если ему уже нечего говорить о литературе? Ведь у нас литература составляет единственный интерес, доступный публике, если не упоминать о преферансе, говоря о немногих, исключительных и как бы случайных ее интересах. Итак, будем же говорить о литературе, — и если, читатели, этот предмет уже кажется вам несколько истощенным и слишком часто истощаемым; если толки о нем уже доставляют вам только то магнетическое

удовольствие, которое так близко к усыплению, — поздравляем вас с прогрессом и пользуемся случаем уверить вас, что мы, в свою очередь, совсем не чужды этого прогресса и что в этом отношении вы не правы, если вздумаете упрекнуть нас в отсталости от духа времени и в наивной запоздалости касательно его интересов... Еще раз: будем рассуждать о русской литературе, — предмет и новый и любопытный...

Переходчивы времена, как подумаешь! Вспомните о том, что так сильно интересовало вас, что давало такую полноту вашей жизни и что было еще так недавно, — вы поневоле воскликнете с грустью:

Свежо предание, а  
верится с трудом!

На Руси еще не вывелись люди, которые

Известья черпают из  
забытых газет  
Времен очаковских и  
покоренья Крыма;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Обе цитаты из комедии «Горе от ума» (д. II, явл. 2 и д. II, явл. 5).

люди, которые со вздохом вспоминают о пудре, о косах с кошельками, о висках à la pigeon,<sup>2</sup> о шитых кафтанах, о шляпах-корабликах, об атласных штанах, о шелковых чулках и башмаках с брильянтовыми пряжками и красными каблуками; о роброндах, о фижмах, о мушках, о менуэте, о grosfатере, о вельможеских столах, куда всякий pauvre diable<sup>3</sup> мог явиться за подачкой, наесться и напиться и за все это расквитаться только униженным поклоном щедрому амфитриону, который так же мало замечал этот поклон, как и тех, кто сидел за столом его; о фейерверках, о пирах, о «Петриаде» Ломоносова, о трагедиях Сумарокова, «Россиаде» Хераскова, «Душеньке» Богдановича, одах Петрова и Державина и обо всей этой поэзии, столь плодovitой, столь громкой, столь однообразной, некогда возбуждавшей такое благоговейное удивление, а теперь известной большею частью только по воспоминаниям, по преданию и по слухам...

---

<sup>2</sup> Pigeon (*фр.*) — голубь; модная прическа «с пуклями наподобие горлицыных крылышек» часто упоминается при изображении щеголей в сатирической литературе XVIII века.

<sup>3</sup> Бедняк. — *Ред.*

И правы, сто, тысячу раз правы эти вздыхающие остатки, одиноко и безотрадно уцелевшие от тех времен; вокруг них «все новое кипит, бывшее истребля». <sup>4</sup> Мир их и мир наш — два совершенно различные мира, между которыми нет ничего общего. Говоря с нами, они с трудом понимают в наших устах русский язык, так страшно изменившийся с тех пор; что же до наших понятий — они не вразумительны для них даже и при посредстве самого точного и верного перевода на их понятия. Положение таких людей можно сравнить только с несчастьем — вдруг ожить, пролежав лет восемьдесят под тою землею, на которой все двигалось и изменялось с быстротою изумительной. Да, им, этим добрым людям, есть о чем вздохнуть! Но эти люди теперь — исключение, дорогая редкость, нечто вроде подлинника несторовой летописи, если только подлинник несторовой летописи где-нибудь еще существует или существовал когда-нибудь. Но теперь есть еще довольно людей другого мира, более близкого нашему. Это люди, которые юношами любовались на блестящий закат царствования Екатерины II и с гордыми надеждами встретили кроткое сияние царствования Александра Благословенного;

---

<sup>4</sup> Из стихотворения Пушкина «К вельможе» (1830).

которые еще не успели привыкнуть ни к пудре, ни к пуклям и весело расстались с этими атрибутами отошедшего к вечности века; которые без проверки, без сомнения, повторяли громкие фразы пожилых и старых людей о величии Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова и Державина, но которые уже плакали навзрыд над «Бедною Лизою», предавались нежной меланхолии при чтении «Натальи, боярской дочери» и восхищались «Письмами русского путешественника». При этом поколении оды были еще в ходу, но более по укоренившемуся в прошлом веке благоговению к их громогласию, нежели вследствие потребностей наставшего нового века. Скажем более: ода тогда уже отжила свое время, и ее громозвучные возгласы были заглушены томными вздохами и нежным журчанием сладких слез. Одам не переставали удивляться, считая их высшим родом поэзии после героической поэмы; но новых даровитых одистов не являлось. Дмитриев пробовал писать оды, но только пробовал (что не помешало ему, однакож, жестоко осмеять оды в остроумной сатире «Чужой толк», — и настоящий успех имели его песни, басни, сказки, эпиграммы, надписи и мадригалы, а не оды. Между молодым поколением начали потом появляться *esprits forts*,<sup>5</sup> которые позволяли себе

---

<sup>5</sup> Вольнодумцы. — *Ред.*



сомневаться в неоспоримом величии Сумарокова: и не мудрено — они ведь знали каждую строку Карамзина, выучили наизусть его стихи, равно как стихи Дмитриева и Нелединского; в театре восхищались трагедиями Озерова. Мерзляков даже дерзнул (о ужас!) изъявить довольно резкое сомнение насчет безукоризненного совершенства «Россиады» и «Владимира». <sup>6</sup> Муза Жуковского открыла изумленным глазам этого поколения совершенно новый мир поэзии. Нам раз случилось слышать от одного из людей этого поколения довольно наивный рассказ о том странном впечатлении, каким поражены были его сверстники, когда, привыкши к громким фразам, вроде: *О ты, священна добродетель!* — они вдруг прочли эти стихи:

Вот и месяц

---

<sup>6</sup> Критический разбор «Россиады» Хераскова был напечатан А. Ф. Мерзляковым в журнале «Амфион», 1815 (№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9). Несмотря на то, что указания на отдельные недостатки поэмы сопровождались в этой статье многочисленными оговорками о ее великих достоинствах, выступление Мерзлякова знаменовало собой начало критической переоценки авторитета одного из наиболее прославленных писателей эпохи классицизма.

величавый  
Встал над тихою  
дубравой;  
То из облака блеснет,  
То за облако зайдет;  
С гор простерты  
длинные тени;  
И лесов дремучих  
сени,  
И зеркало зыбких  
вод.  
И небес далекий свод  
В светлый сумрак  
облечены...  
Спят пригорки  
отдаленны,  
Бор заснул, долина  
спит...  
Чу!.. полночный час  
звучит.<sup>7</sup>

По наивному рассказу, современников этой баллады особенным изумлением поразило слово *чу!*.. Они не знали, что им делать с этим словом,

---

<sup>7</sup> Из баллады В. А. Жуковского «Людмила», впервые напечатанной в журнале «Вестник Европы», 1808.

как принять его — за поэтическую красоту или литературное уродство... И в то время как Жуковский вводил и распространял вкус к романтизму, скрипучий, сросшийся с усечениями и какофониею русский псевдоклассицизм, под очаровательным пером Батюшкова, дошел даже не только до щегольства, но и почти до поэзии выражения, до мелодии стиха... И что же? — Едва прошло два десятилетия наступившего века, как явился Пушкин, — и доселе новое поколение с изумлением увидело себя поколением уже отжившим свое время... В самом деле, если русская проза, преобразованная Карамзиным, улучшенная Жуковским, еще не показала в это время решительного стремления к новому преобразованию, зато стихи так быстро, так скоро изменились, что тотчас же за Пушкиным даже и убогие талантом молодые люди запели такими легкими, такими гладкими стихами, что в сравнении с ними и стихи Батюшкова перестали казаться образцом изящества. И добро бы реформа стиха ограничивалась только его фактурой: нет, самый тон поэзии, ее содержание, ее мотивы — все стало диаметрально противоположно прежней поэзии. Сколько уже времени до того Жуковский писал баллады! на них некоторые косились, хотя большинство читало их с одобрением; но лишь явился Пушкин, не написавший почти ни одной

баллады, как баллада сделалась любимым родом: все принялись за мертвецов, за кладбища, за ночных убийц; поднялись жестокие споры за балладу. Элегия наповал убила оду; уныние, грусть, *разочарование, сомнение*, сладостная лень, пьянство, похмелье, пиры, студентское удалство, гамлетовское раздумье, разрушенные надежды, обманщица-жизнь, пена шампанского, разбойники, нищие, цыгане — вот что, как хозяева, вошло во храм русской поэзии и гордо пальцем указало дверь прежним жрецам и поклонникам... Критика, дотоле скромная, покорная служительница авторитета и льстивая повторяльщица избитых общих мест, вдруг словно с цепи сорвалась. Она перевернула все понятия, ложью объявила то, что дотоле считалось истиною, назвала истиною то, что дотоле считалось ложью. Сумарокова провозгласила она бездарным писакою, под пару Тредьяковскому; поэмы Хераскова из *великих* произвела только в *тяжелые*; Петрова объявила надутым ритором в стихах; даже Ломоносова дерзнула поставить, как поэта и лирика, на весьма почтительное расстояние от Державина. Из всех этих колоссальных слав уцелели только Ломоносов и Державин; но первый больше как ученый, как преобразователь языка, нежели как поэт; об одном только Державине новая критика повторила все старые фразы с прибавлением своих новых. Потом пользовались ее

благосклонностью Хемницер и Богданович, и не был ею оценен Фонвизин — единственный писатель екатерининского века, которого будут читать еще не один век. К числу заслуг новой критики принадлежит еще то, что она уничтожила смешной предрассудок, основанный на кумовстве и безвкусице, — предрассудок, вследствие которого басни Дмитриева считались выше басен Крылова, тогда как здравый смысл и чистый вкус запрещали какое-нибудь сравнение между баснями Дмитриева и гениальными баснями Крылова...<sup>8</sup> Не перечесть

---

<sup>8</sup> Первая, еще несмелая, попытка критической переоценки авторитетов классицизма была сделана А. Марлинским (см., например, его статью «Взгляд на старую и новую словесность в России». Полн. собр. соч., изд. 4-е, СПб, 1847, ч. XI, стр. 135–157). Однако перечисляя «подвиги новой критики», Белинский имеет в виду главным образом Н. А. Полевого, его статьи и рецензии: «Сочинения Державина», «Баллады и повести В. А. Жуковского», «Сочинения И. И. Дмитриева», «Борис Годунов», «Сочинение Александра Пушкина» (печатавшиеся в «Московском телеграфе» 1832–1833 гг. и позднее вошедшие в его книгу «Очерки русской литературы», ч. I–II, СПб, 1839). // Указание на самобытность и оригинальность басен Крылова в отличие от басен И. Дмитриева, которые «созданы были не русским умом и пересказаны языком условных приличий», дано Полевым в статье «Сочинения И. И. Дмитриева» (Очерки, т. II, стр. 451–482).

всех подвигов новой критики! Не довольствуясь своими писателями, она смело пустилась судить (впрочем, с чужого голоса) об иностранных: не только Флориан, Делиль, Кребийльон, Дюсис, Попе, Адиссон, Драйден, но и трагики — Корнель, Расин, Вольтер — были объявлены ею плохими и ничтожными поэтами. Взамен их она провозгласила великими гениями Шекспира, Сервантеса, Шиллера, Гёте, Байрона, Вальтера Скотта, *Виктора Гюго*, заговорила с уважением о Гофмане, Жан-Поле, Вашингтоне Ирвинге, Тике, Цшокке. — Буало, Баттё и Лагарп были ею уничтожены как законодатели в *области* изящного, как руководители литературного вкуса: на дребезги разбитых их статуй и пьедесталов поставила она братьев Шлегелей.

Но все эти «опасные новости», все эти «дикие неистовства» вольнодумной критики, так изумившие и раздражившие старое поколение, и вполнину не произвели на него такого страшного, потрясающего впечатления, как начавшиеся потом нападки на Карамзина. Тут вполне обнаружилось воспитанное Карамзиным поколение: в непростительной дерзости новых критиков судить о Карамзине не по табели о рангах, а по своему смыслу и вкусу увидело оно покушение на жизнь и честь — не Карамзина (которого честь достаточно обеспечивалась его заслугами), а на жизнь и честь

карамзинского поколения. Война была страшная; много было пролито чернил и поломано перьев; сражались и стихами и прозой. Замечательно, впрочем, что эта война началась еще при жизни Карамзина (который не вмешивался в нее) и что первый осмелился заговорить о Карамзине, не по преданию и не по авторитету, а по собственному суждению, человек старого поколения — профессор Каченовский. Князь Вяземский доказывал ему его несправедливость в стихотворном послании, которое было напечатано в «Сыне отечества» (1821) и начиналось так:

Перед судом ума  
сколь, Каченовский!  
жалок,  
Талантов низкий  
враг, завистливый зоил,  
Как оный вечный  
огнь на алтаре весталок,  
Так втайне вечный  
яд, дар лютой адских сил  
В груди несчастного  
неугасимо тлеет.  
На нем чужой успех,  
как ноша, тяготеет;  
Счастливица свежий  
лавр — колючий терн ему;

Всегда он ближнего  
довольством недоволен,  
И вольный мученик,  
чужим здоровьем болен.

Г. Каченовский перепечатал это послание у себя, в «Вестнике Европы», поблагодарив издателей «Сына отечества» за запятую и восклицательный знак, которыми, в первом стихе, отделено имя того, к кому адресовано послание, и снабдив эту пьесу очень любопытными примечаниями.<sup>9</sup> И долго после того продолжалась война... Карамзина не стало; князь Вяземский напечатал в «Телеграфе» еще стихотворную филиппику против врагов Карамзина, то есть против людей, которые почли себя вправе судить о Карамзине по крайнему *их*, а не чужому разумению; в этой филиппике он сравнил Карамзина с гениальным зодчим, который из грубого материала русского языка воздвиг

---

<sup>9</sup> Послание П. А. Вяземского напечатано в «Сыне отечества», 1821, № 2, перепечатано Каченовским в «Вестнике Европы», 1821, ч. 116, № 2, стр. 98–106. Каченовский писал в примечании: «Благодарность издателям С. О.! Поставив запятую и знак восклицательный, они отвели ругательство от меня и подозрение в дурном умысле от г-на Вяземского...» (стр. 98).



великолепный храм; а критиков Карамзина сравнил он с совами, которые набились в храм, и пр.<sup>10</sup> Но, несмотря на все филиппики в прозе и стихах, время все шло да шло, унося с собою и вещи, и людей, все изменяя в пользу нового насчет старого. Из поколения, образованного под влиянием карамзинского направления, многие смотрели на Пушкина косо, как на литературного еретика; но очень немногие умели как-то эклектически сочетать уважение к Пушкину и другим новым талантам, с уважением, попрежнему более упрямым, нежели отчетливым, к литературным корифеям своего времени. *Мое время, наше время — какие это волшебные слова для человека! И как не считать ему своего времени за золотой век Астреи: ведь он тогда был молод и счастлив! Писатели его времени были первыми, которые поразили впечатлением его юный ум, его юное сердце, а впечатления юности неизгладимы!.. И потому мы не можем без живой*

---

<sup>10</sup> Речь идет об эпиграмме П. А. Вяземского «Быль» («Московский телеграф», 1828, т. XXIII, стр. 271), явившейся ответом на критическую статью об «Истории» Карамзина, напечатанную в журнале «Московский вестник» того же года. Вяземский использовал для полемики с новыми врагами Карамзина эпиграмму, написанную им около 1818 года в связи с первыми выступлениями Каченовского против «Истории» Карамзина.

*симпатии читать этих стихов, в которых  
отжившее свой век поколение, в лице одного из  
замечательнейших своих представителей, с такою  
грустной искренностью признает себя  
побежденным и, отказываясь делить интересы  
нового поколения, уже не обвиняет его за то, что  
оно живет жизнью тоже своего, а не чужого  
времени:*

Сыны другого  
поколенья,  
Мы в новом —  
прошлогодний цвет:  
Живых нам чужды  
впечатленья,  
А нашим в них  
сочувствий нет,  
Они, что любим,  
разлюбили,  
Страстям их — нас  
не волновать!  
Их не было там, где  
мы были,  
Где будут — нам уж  
не бывать!  
Наш мир — им храм  
опустошенный,  
Им баснословье —

наша быль,  
И то, что пепел нам  
священный —  
Для них одна немая  
пыль.  
Так мы развалинам  
подобны,  
И на распутии  
живых  
Стоим как памятник  
надгробный  
Среди обителей  
людских.<sup>11</sup>

Да, понятна такая грусть, равно как и то, что поколение карамзинского периода нашей литературы проиграло тяжбу о своем первенстве скорее, нежели увидело и призналось, что его тяжба проиграна. Между ним было много людей, которые прочли первые печатные строки Карамзина в минуту их появления, а Карамзин начал писать за десять лет до начала нового столетия: <sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Из стихотворения П. А. Вяземского «Старое поколение» (альманах «Утренняя заря», СПб, 1841, стр. 204).

<sup>12</sup> Белинский, очевидно, имеет в виду «Письма русского путешественника», впервые опубликованные в «Московском

следовательно, многие из людей этого поколения, не подготовившись, встретили славу Пушкина вдруг выросшую колоссально, без их ведома, без их содействия, и какую славу! — славу, которой до него не знал ни один русский поэт, — славу *народную*... В то время самые младшие из людей этого поколения были уже людьми возмужалыми, вполне развившимися и определившимися; большая же часть этого поколения состояла из людей пожилых; и если между ними немного было стариков, то к ним примкнулись, в чувстве оппозиции новой литературе, все старцы ломоносовского периода нашей литературы, — старцы, которые, разнясь с ними во многом, почти все совершенно сходились в безусловном удивлении к Карамзину. Но вот что удивительно: как это новое, это *романтическое* поколение, одержавшее такую решительную победу над предшествовавшим ему поколением, — как оно-то так скоро стало в то самое положение, в которое оно поставило смененное им поколение? Скажут: этому минуло уже около двадцати пяти лет, почти

---

журнале» 1791–1792 гг. Однако первый печатный труд Карамзина (перевод из Геснера) появился в 1783 году, а первая оригинальная «истинно русская повесть» «Евгений и Юлия» — в 1789 году (в журнале «Детское чтение для сердца и разума»).

целая четверть века. Если б это было так, тут не было бы ничего особенно удивительного; но дело в том, что между 1831-м и 1835-м годом в литературе нашей произошел крутой перелом. Пушкин пошел по совершенно новой дороге, предавшись искусству в исключительном значении этого слова; издав «Бориса Годунова» и последние главы «Онегина», он печатал, и то изредка, только небольшие пьесы. Правда, он напечатал в своем журнале «Капитанскую дочку» и «Скупого рыцаря»; но «Египетские ночи», «Русалка», «Медный всадник» и «Каменный гость» были напечатаны уже после его смерти. Сверх того, он обнаружил сильную склонность к прозе и к важным историческим трудам, потому что его «История Пугачевского бунта» была для него самого только пробным камнем его исторического таланта, и, работая над нею, он уже готовил материалы для труда более важного и великого — для истории Петра Великого. Но, что особенно замечательно, в начале тридцатых годов (между 1831 и 1835-м) Пушкин так же был в упадке своей славы, как в начале двадцатых годов он был в ее апогее. Этот факт многозначительный. От Пушкина отступились его присяжные хвалители и издалека повели речь, что он отстал от века, обманул всеобщие ожидания, — словом, повели речь о его падении так же основательно, как основательно

провозглашали его еще не так давно *северным Байроном* и *представителем современного человечества*.<sup>13</sup> Даже дружина талантов, вместе вышедшая с Пушкиным и ему так много обязанная отблеском его отразившейся на ней славы, даже она была недовольна им. Многие спрашивали, что же он сделал, где у него европейские идеи, и т. п. Некоторые дошли до того, что в Пушкине стали видеть не более как преобразователя русского стиха, — легкого, приятного и грациозного стихотворца, а пальму первенства между русскими поэтами думали вручить г. Языкову, тем более что и сам Пушкин видел в последнем какого-то необыкновенного поэта.

Но все это означало ни больше, ни меньше, как только то, что все это поколение, из-под орлиного крыла Пушкина весело выпорхнувшее на раздолье литературного мира, уже отстало от него. Пушкина спасла не мысль, не сознательное стремление вперед; нет, своим спасением, то есть тем, что он не исписался и не выписался, он обязан был только своему колоссальному таланту, своей глубокой натуре, своему необыкновенному художественному инстинкту. Когда явились его посмертные сочинения, для них нашлись ценители

---

<sup>13</sup> Имеется в виду Н. Полевой.

и судьи уже из людей нового поколения; а то, которое развилось под его влиянием и теперь еще живет воспоминанием славы Пушкина, как творца «Руслана и Людмилы», «Братьев разбойников», «Кавказского пленника», «Бахчисарайского фонтана», «Графа Нулина», «Цыган» и первых шести глав «Онегина». В 1830 году необычайный успех «Юрия Милославского» сообщил русской литературе более прозаическое направление в том смысле, что стихов стали меньше читать и писать, тогда как прозу жадно читала публика и в прозе усердно начали подвизаться литераторы. В 1831 и 1832-м годах появились «Вечера на хуторе» Гоголя, а в 1836 году русская публика уже прочла его «Арабески», «Миргород» и познакомилась, и в книге и в театре, с его «Ревизором». <sup>14</sup> Поэты пушкинской эпохи продолжали писать, но их стихотворения уже не возбуждали прежнего внимания, их имена уже потеряли свое прежнее очарование и перестали быть неоспоримым доказательством высокого достоинства пьес, под которыми они подписаны. В то же время явились в литературе совершенно новые имена, — между

---

<sup>14</sup> Все даты выхода произведений Гоголя Белинский называет верно, за исключением «Арабесок» и «Миргорода», которые вышли не в 1836, а в 1835 году.

прочими гг. Кукольник и Бенедиктов, в сочинениях которых заметно было совершенно новое направление, совсем другой характер, нежели у поэтов пушкинской школы. О значении этого направления мы не считаем нужным распространяться; скажем только, что оно было *новое* и что во всем *новом* всегда выражается стремление к прогрессу, если не прогресс. Все это, каждое в свою очередь, более или менее было признаком конца одного периода литературы и начала другого: одно поколение уступало место другому. Но ни в чем так резко не выразился этот конец для одних и это начало для других, как в критике. Спор о романтизме и классицизме кончился; партии не согласились, но время решило вопрос, и этим решением воспользовались, разумеется, не те, которые спорили. Романтическая критика, как мы уже заметили выше, потеряла свой торжествующий и победный тон; она вдруг сделалась недовольной, ворчливой и пустилась сокрушать авторитеты, которым сама еще так недавно кадила фимиамом благовоннейших похвал. Если в ее глазах и сам Пушкин отстал от века, то кто же бы из других мог не отстать от него? И потому все отстали, все исписались или выписались, все, кроме ее, *критики с высшими взглядами...* А между тем, если кто больше всех отстал, так это, конечно, она, верхоглядная критика,



и если кто вовсе не думал отставать, так это, конечно, Пушкин. Но мы не будем слишком нападать на романтическую критику, и если правды ради выскажем ее прегрешения, то не скроем и заслуг ее, — а она оказала большие заслуги общему делу развития. Она повалила множество ничтожных авторитетов, в гениальность которых до нее верили, как монголы верят в святость Далай-Ламы; она изгнала из литературы множество предрассудков самых смешных и самых жалких; она первая осмелилась сказать во всеуслышание, что можно быть в одно и то же время и человеком и прекрасным отцом семейства, образцом нравственности, словом, всячески почтенным и заслуженным человеком и — кропать плохие стихи, сочинять дрянные романы; что звания и должности должны уважаться, но никак не должны бездарности давать права, принадлежащие одному таланту, и что стихи или проза почтенного человека — совершенно различные предметы, так что хула на стихи или прозу его нисколько не есть хула на его личность или его звание. Все это *теперь* похоже на истины вроде той, что зимою бывает холодно, а летом тепло; но *тогда* — это было другое дело, и нужно было много любви к истине и благородной смелости, чтоб решиться два раза в месяц и говорить эти истины и применять их к делу. Было время, когда Мерзляков не знал, куда

деваться от всеобщего негодования, которое возбудили его смелые статьи против Хераскова. И даже во время Пушкина, — это помним и мы, — выходки против Сумарокова многими принимались с суеверным ужасом, как в степях Средней Азии были бы приняты хулы на Далай-Ламу. Теперь о таланте можно всякому судить как угодно: если вы судите ложно и Пушкина называете бездарным писакою, а какого-нибудь нового Тредьяковского — гениальным писателем, — в этом все увидят только ваше невежество и безвкусие, а не дерзость, не буйство, не безнравственность. И этим прогрессом мы обязаны блаженной памяти романтической критике; и это ее неотъемлемая, неоспоримая заслуга, за которую ей честь и слава. Романтическая критика явилась в такие баснословные, такие мифические времена русской литературы, как будто бы это было назад тому тысячу лет, хотя это было не более двадцати пяти лет назад. Судите сами — и дивитесь: в то блаженное и приснопамятное время молодой человек, желавший действовать на литературном поприще, должен был сперва втереться в гостиную какого-нибудь знаменитого писателя, прославившегося несколькими мадригалами и прозаическою статьею о *ничем*, напечатанною лет пятнадцать назад; в гостиной наш кандидат в писатели должен был прислушиваться к

литературным толкам «знаменитых и опытных» литераторов, чтоб научиться здраво судить о литературе, то есть научиться повторять чужие слова, а вместе с тем и позапасть приличием и хорошим тоном. Выдержав первый искус, он *в один прекрасный вечер* робко, с замиранием сердца объявлял почтенному собранию, что он смастерил басенку, песенку, мадригал, сонетец или что-нибудь в этом роде и что при сочинении своей пьесы он *подражал* такому-то (тогда *сочинять* значило *подражать*, а сочиняя не подражать, или сочинять не подражая значило *буйствовать* и *вольнодумничать*).

Почтенное собрание благосклонно соизволяло выслушать первый опыт юного пииты, потом начинало делать свои замечания о том, что хорошо и что нехорошо в пьесе. Сколько голов, столько умов: вследствие этой аксиомы в пьесе скромного пииты не оставалось почти ни одного незабракованного слова, и все осужденное он должен был переменить или исключить. Это повторялось несколько вечеров; наконец, стихотворение объявлялось годным для печати и помещалось в журнале. Это было родом рыцарского посвящения, и с той минуты новоставленник обязывался быть верным риторике, фразам, пиитическим вольностям, обязывался не иметь своего суждения до известных солидных лет, а до тех пор жить ходячими

мнениями знаменитых и опытных литераторов. Один из замечательнейших поборников так называемого романтизма рассказывает презабавный анекдот из этих времен литературного патронажства: «Я помню, как однажды при мне, в обществе литераторов, читали стихи Пушкина «К морю» (они тогда не были еще напечатаны и только что явились в рукописи). Молодой человек, прочитавший их, застенчиво сказал, что это его произведение, и скромно просил совета, что ему исправить, и вообще можно ли напечатать их. Пошли толки! Один говорил то, другой другое; мнимый автор все отмечал, записывал, выслушал решительный приговор, что стихи недурны, но без исправления печатать их нельзя, и вдруг объявил, что это — стихи Пушкина! Вообразите, какие длинные носы приросли к носам всех советников!» Вот какие были эти времена! И со всем этим романтическая критика боролась смело, отважно, неутомимо, и все это она победила.<sup>15</sup>

Надо еще сказать, что эта критика имела что-то вроде самобытного мнения, не чужда была эстетической образованности и вкуса, наскоро

---

<sup>15</sup> Этот выразительный «анекдот» был рассказан Н. А. Полевым в предисловии к сборнику «Новый живописец общества и литературы», М., 1832, ч. 1-я, стр. IX).

читала все, что писалось за границей, и наскоро перелистывала, во французских переводах, почти всех европейских писателей. Это давало ей огромный перевес над людьми старого поколения, которые были хорошо знакомы только с французскими писателями XVII и XVIII века, глазами которых смотрели на писателей Германии и Англии, но сами их никогда не читали или читали в водяных французских переводах того же XVIII века. Таким образом, ложная мысль, что искусство есть украшенное подражание изящной (а не низкой) природе и что сочинять значит подражать какому-нибудь прославленному писателю, особенно из древних, — эта ложная мысль была первым и главным догматом их эстетического корана. Романтическая критика в особенности устремилась на *подражание*, и если теперь поставить в заглавии своего сочинения: *подражание тому-то* или *такому-то*, значит заранее убить свою книгу, лишив ее читателей (так же, как прежде значило — заранее расположить и критику и публику в пользу своей книги); это дело — заслуга романтической критики. Так называемые русские классики больше всего боялись иметь какое-нибудь свое собственное оригинальное мнение и больше всего старались думать и говорить, как думали и говорили прежде их и как думали и говорили в их время *все*: романтическая